

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

Главы из романа

иже пришеде на брѣгъ ѳезероу єдинъ и отаи . Ѳвлосоѳъ не вида свѣта ибо ношть сѣло темьна стоіаше . но ть молитвѣхъ сѣтворилъ бѣаше . иже глаголіаше при водѣ и брѣзѣ . с Богомъ и вѣнимѣахъ ємоу Богъ и анѣлы Господьни . и даде Богъ Ѳвлосоѳоу ѳа боукѣви словеньскы .

(...Он же пришёл на берег озера один и тайно, философ, не видящий света, потому что ночь очень тёмная стояла. Но он тогда сотворил молитву, он разговаривал у воды и у берега с Богом, и стали ему внимать Бог и ангелы господни. И дал Бог Философу эти буквы славянские...)

Буква первая АЗЪ

1. (Экспозиция, 827–840 гг.)

Имя моё – Крохобор, я горжусь быть достойным потомком Храброго духом отца Хлебогрыза и матери милой, Ситолизуньи, любезнейшей дочки царя Мясоеда. А родился в шалаше я и пищей обильной взлелеян: Смоквою нежною, сочным орехом и всяческой снєдью. «Батрахомиомахия» – «Война мышей и лягушек»
(пер. М. С. Альтмана)

Маковки собора украшались первыми лучами.

Тишина и покой царили в сыром воздухе, как вдруг ударил колокол – гулко, второй – звонко, третий – опять гулко, и поднялась растревоженная стая голубей. Они в едином порыве то взлетали ввысь, то бросались вниз навстречу черепичным крышам и булыжной мостовой. На их перьях играло утреннее солнце. Они были вестниками нового дня, частью огромного механизма, приводящего в движение торговый город.

Колокольный звон, вначале нескладный и неуклюжий, постепенно переходил в бойкую мелодию, услышав которую, хотелось вторить ей свистом, но никто не осмеливался.

К собору спешили толпы народа, желая успеть на воскресную службу. Они собирались ручьями по дворикам, лились подобно рекам, затопля узкие переулочки и выплѣскиваясь на соборную площадь, создавая иллюзию океана, где волны людей накатывали одна на другую, где их голоса – шѣпотом, причитаниями, вскриками – порождали хаотичный

шум, служащий фоном и оттеняющий колокола. И этот шум, звучащий на разных языках и наречиях, как ни странно, объединял, вплетая голос в голос, тональность в тональность, мысль в мысль, настраивая их на единый лад.

Люди были полны радости и привычного трепета: и Никодим-мясник, ещё вчера с упоением кромсавший кровавую говядину, и жена трактирщика, намедни изменившая мужу с молоденьким постояльцем, и добродетельный кузнец, иногда развлекающийся грабежом по ночам, и дочь убитого им сановника, торгующая цветами и собственной красотой. Все они спешили, и только дурачок, раскрыв рот с гнилыми зубами, застыл, прислонившись к забору, и смотрел в небо, где клубились птицы. Он поковырял в носу, громко чихнул и засмеялся:

– Дево Марие! Что творят птицы-то сии! Его-го! Жители небесные! Души пресвятыя! Несите, несите весточки!

И голуби, словно послушавшись его, скрылись за собором. И тогда окрестили Философа и нарекли его Константином.

На дворе стоял 6327 год. Ромейская империя, за последние три столетия потерявшая половину своей территории, тем не менее, была могущественна. Её император по праву считал себя владыкой половины мира, уверенный в том, что является единственным подлинным правителем всего Средиземноморья. Только его вера и вера его народов были несказанно больше. В то время вера пропитывала всё, и даже на убийство шли, перекрестясь. Такие стояли нравы, такой странной и удивительной была жизнь в империи. Высокое и низкое, ум и глупость, добродетель и порок – всё плавилось в едином тигле, причудливо перемешиваясь, создавая удивительные сплавы человеческих характеров.

В тот же год в провинциальном городе под названием Салоники родился Константин Философ. Его мать – Мария – сквозь слёзы смотрела на своё уже седьмое чадо и зачарованно шептала, словно заклинание-оберег: «Седем сын!.. Седем сын...» Пятеро предыдущих не прожили и пары лет...

Вокруг суетились служанки, меняя простыни, унося кувшины, украшая комнату благовониями. Вскоре должен был прийти муж, за которым уже послали верного раба Агапия.

Отец Философа, Лев, – был военным чиновником – друнгарием, отвечающим за городскую стражу и сбор налогов, а также судившим гражданские дела жителей Салоник.

– Господи милостивый! – сказал он, ворвавшись в комнату, – ты подарил мне сына! – однако не решился подойти к жене и новорожденно-

му: они были грязны и греховны, пусть и любимы; нужно было выждать.

Он позвал друзей и несколько дней пировал с ними, наслаждаясь общением, яствами и напитками, пока Философ питался молоком матери и внимал её колыбельным. Дело в том, что младенец отказался от груди кормилицы, нарочно приглашённой для родовитого отпрыска. Мать потом удивлялась: то был единственный сын, коего она кормила весь положенный срок.

По истечении греховного времени, когда мать отошла от родов, а младенец очистился от крови матери, они смогли показаться на люди. Изрядно пьяные гости приветствовали их, особо назойливые заглядывали в лицо ребёнку и отмечали ясный умный взгляд тёмно-карих глаз. Все родственники и друзья семьи спешили полюбоваться на Философа, потому что им нравилось смотреть в эти чистые ангельские глаза, и родители решили, что ребёнка пора бы окрестить, дабы уберечь от сглаза.

Мать его родом была из славян, которых множество жило в Салониках, да и вообще в имперской части Македонии, куда они переселялись, теснимые болгарами. Заключённый брак носил скорее политический характер, нёс выгоду её родителям, но и она сама вскоре обрела счастье, полюбив – и поняв, что любима. Её новообращённые родители дали дочери вполне христианское имя – Мария. Она была чернобровой красавицей, любительницей нарядов и вместе с тем верующей добродетельной христианкой, правда, не способной избавиться от языческих суеверий своих предков. Забавляло её ловить лягушек в пруду и, крепко держа в руках очередную квакушку, приговаривать ей в самую морду:

– Мати Мокоши, помози в трудах моих домовиты!

Она любила поговорить, но плохо знала греческий. Впрочем, знания языка ей хватало на беседы с мужем, который редко заговаривал на славянском, потому что был чистым греком и не стремился к изучению варварских диалектов, хоть по долгу службы и приходилось их разуметь.

Именно потому все служанки в доме были славянской крови, говорившими на общем языке, понятном всем окрестным славянам. Племян же их проживало вокруг немало: смоляне, ваюниты, хорваты, драговиты, сагудиты, мелких и не перечислишь. С ними-то, прислужницами, и болтала Мария дни напролёт, узнавая новости и сплетни. Она всегда была в курсе событий, произошедших не только в их городе, но и по всей империи. Мирный договор с Болгарским ханством, помазание на царство Феофила, ярого иконоборца, или приготовления к казни Никодима-мясника, обвинённого в ночных разбоях и убийствах приезжих купцов – всё она узнавала одной из первых, иногда раньше мужа, ожидающего послов.

Каждый день она отправляла служанок на рынок за новыми сплетнями. Разгорячённые приказом и собственным любопытством они буквально летели, подгоняемые стремлением к познанию мира, но совершенно о нём не помышлявшие.

Может быть, потому Философа буквально с младенчества окружали далеко не всегда полезные знания о бренном мире. Он слышал, ещё не понимая, многое, что не стоит слышать младенцу. Но главное заключалось в другом: он слышал язык матери и служанок и понимал его, и язык отца и друзей отца он тоже слышал и понимал.

К пяти годам он уже знал, что есть два языка, на которых он может говорить, и он говорил: с матерью – по-своему, с отцом – по-своему.

Во всём он видел звуки, совершенные и прекрасные, складывающиеся в осмысленную речь. Он понимал всех домочадцев, и его очень забавляло, что стражник порой не мог толком объясниться со служанкой, и тому приходилось жестикулировать и корчить рожи. Заметив ребёнка, парочка смеялась и краснела...

Вот только певчих птиц, собак, лошадей и кошек не понимал маленький Константин, но думал, что однажды поймёт и животных. Мать иногда рассказывала сказки про птичий язык да звериный свист, и он желал научиться им. Подслушивал утренний щебет в саду, недовольное ворчание в конуре в полдень, усталое всхрапывание под вечер в конюшне и всегдашнее мяуканье в кухне у кладовой.

До школы со сверстниками он почти не общался: дети слуг его сторонились, а единственный брат был старше на тринадцать лет. Дома Михаил, брат, появлялся редко, неся службу в друнге, оберегающей северные рубежи фемы. Там же он сделал блестящую военную карьеру, усмиряя бунты оседающих в Македонии славян и давая ярый отпор теснившим Балканы болгарам.

Едва научившись ходить и понимать, из младенца, впитывающего всё услышанное без разбору, Философ превратился в требовательного слушателя. Михаил в редкие домашние дни, всегда со светлой улыбкой разжигая интерес, делился историями, которые читал, заговорщически подмигивая, сообщал о фактах, которые знал, например, что у слона нос вместо руки, или что дельфины – не рыбы.

В основном же Философа поручили старику Агапию. Тот ежедневно по утрам гулял с ребёнком по городу, по шумным мостовым и по тихим улочкам, устраивал привалы в тени базилик или кипарисовых насаждений, непременно доставая снедь: ячневый хлеб, мёд и молоко. Подкрепившись, они продолжали путь: в гору – к северной городской сте-

не или, что больше любил Константин – к морю, к торговым причалам. Там Агапий иногда покупал кожу и ткани, которые заказывала Мария, а Философ, наострив уши, ловил удивительные звуки: горловые щелчки арабского языка, шипение арамейского, звонкие раскаты грузинского и много чего ещё... И каждый язык звучал таинственно, пленяя Константина своей неповторимой мелодией. Не меньше языков удивляли и люди: различались лица и пестрели одежды, за каждым лотком – свои жесты, но... одинаковые улыбки и сияние глаз. Только они не требовали перевода. В толчее Агапий крепко держал мальчика за руку, так как знал: пойдёт за первым попавшимся толмачом наблюдать, как тот переводит, помогая торговаться. Да и небезопасное место этот базар: тут воры срезают кошельки, иногда укорачивают жизни, работоторговцы заманивают простаков в трюмы своих быстроходных дхау, а неповоротливых зевак кусают блохастые собаки. Но родители были уверены: Константину ничего не угрожает. Седая борода Агапия наполовину скрывала шрам на щеке от кнута; статная, несмотря на возраст, фигура и беззаветная преданность семье, выкупившей его от жестокого хозяина, делали его лучшим педагогом – спутником ребёнка. Философ же считал его единственным другом.

Вот только тяжкая прежняя жизнь наложила печать заикания на Агапия. А маленький Константин искал чистой речи, журчащей как родник за водяной мельницей возле их загородной виллы, звучащей как вечерние колыбельные на родном языке матери или как дельные и точные (даже отточенные) наставления на языке отца.

Его отец был человеком сведущим и образованным, достигшим успехов на военной службе, что позволяло ему занимать важный пост в государстве, где доблесть в битве определяла честность человека и его преданность короне. Только военный человек мог занять должность по управлению городом или целой провинцией, так как понимал, чего стоит сохранение порядка и достатка местных жителей, а тем более безопасности и процветания. Взвешенность решений помогала в управлении территорией; войны необходимы, иначе государство утратит свой статус, а вместе с ним и земли. Но всегда необходимо знать при каких обстоятельствах, ради чего ты начинаешь бой, что можешь пообещать своим воинам и чужим предателям, и, в конце концов, какую надежду даёшь подчинившимся тебе, какое благо, а не выгоду!

Такое совмещение гражданского поста и военного представляла собой должность друнгария, которую и занимал Лев, помощник стратига армии – фемы – охраняющей Салоники и прилегающие к городу земли. Город сей когда-то был сердцем эллинизма, греческой столицей, но с

перенесением имперской столицы в Византий, переименованный в Константинополь, блеск Салоник затмился, слава померкла. Но жители всё ещё сохраняли столичную гордость и ревностно недолюбливали константинопольцев.

Земной суд друнгария Льва, его немилосердие не являлись жестокостью, но лишь приемлемой необходимостью.

Он ратовал за общее спокойствие и потому не стал стратигом, имея близкое знакомство с логофетом дромы Феоктистом, другом детства. Они не только дрались на тупых заготовках мечей, выкраденных из кузнечной мастерской, оттачивая своё искусство владения оружием, но и ловили оранжевых бабочек необыкновенно большим сачком, найденным у лачуги рыбаря. Однажды сходили в торговый квартал до купеческих дочек.

Эта выходка обошлась им особенно дорого: Льва выпороли аки молокососа, а на будущего логофета обратили внимание и отправили в Константинополь, где вскорости оскопили и определили в хор мальчиков при соборе Святой Софии. Он был наследником громадного состояния, но его попечитель – копт, бывший правой рукой его покойного отца, – всю власть попытался захватить сам (воистину его зарезали неизвестные грабители), – сумел представить наследника слабоумным, а случай в купеческом районе лишь сыграл на руку супостату. Однако Феоктист сумел восстановить своё доброе имя, когда окреп и повзрослел. Он не вернул себе прежнего состояния, но, обладая талантом заводить необходимые знакомства, пробил себе путь к вершине власти. Сначала – мальчик в певчем хоре, потом солист там же, потом надзиратель. Учítывая, что в это время он посещал среднюю школу, и не просто посещал, а делал явные успехи в науке, его вскорости сделали помощником главного библиотекаря. Сия должность не была смешна, а наоборот, открывала перед амбициозным молодым человеком двери в мир больших мечтаний и большой политики. И он взялся за свою военную карьеру, столь необходимую для дальнейшего продвижения, однако она не имела успехов: ни из одной битвы он не вышел победителем. Но, тем не менее, и однозначно проигравшим его тоже нельзя было назвать, потому что он, как никто другой, умел преподнести себя при дворе. Феоктист сошёлся с императрицей, став при василевсе Феофиле главным министром – логофетом дромы – ответственным за казну и дороги, а в действительности – за почту, шпионов, налоги и содержание всех институтов империи. Он был умён, и понимал, как мало надо ума, чтобы управлять миром, а потому удалял всех конкурентов, оказывающих влияние на императора. Правда, не всегда удачно и надолго: на открытые убийства у него не хватало духу, ибо был он труслив и богобоязнен.

Он не забыл своей дружбы со Львом и всячески принимал участие в его судьбе и судьбе его детей, которых любил всем сердцем, не имея собственных.

Семи лет от роду Константина отдали в учение.

В младшей школе он быстро овладел греческой грамотой. Ему нравилось, что звуки, до того такие неуловимые и невидимые, обретают плоть и кровь на куске пергамента и начинают самостоятельную жизнь, неся знания людям, сообщая что-нибудь важное каждому читающему. Эта передача мыслей сквозь время и пространство казалась ему поистине Божьим даром. Тогда он ещё не задумывался, что образцовое начертание греческих букв – дело рук язычников древности, учёных мужей, что поклонялись солнцу, луне, деревьям, животным, называя их богами и нарекая: Зевс, Гелиос, Арес, Деметра... Ему нравилось писать, выполнять упражнения по каллиграфии, осваивая нормы унциального письма. Каждое движение должно было быть отточенным, выверенным, решительным, только тогда дельта и ипсилон, альфа и омега дополняли друг друга, сливаясь в поток речи, доставляющий зрительное наслаждение. Философ любовался каждой линией и каждым изгибом, когда они достигали совершенства.

Ему показывали образчики письма. Он их разглядывал, заучивая облик, влюблялся в них до сердцебиения, бредил ночами, а потом... и только потом Философ пристрастился к чтению.

Будучи отроком, он читал всё, что попадалось в библиотеке под руку: «Войну мышей и лягушек», басни Эзопа, «Илиаду», трагедии Эсхила и Софокла. Однажды он взялся и за Библию, которую, впрочем, и так неплохо знал, ведь именно по ней учили грамоте.

Поскольку в ту эпоху всё было пропитано верой, то неудивительно, что Философ зачитывался Евангелиями и Посланиями. Он внимал Откровению, принимал его, а вместе с ним и мир, в котором жил. Окружающее обретало смысл и понятие: ведь оно грешно, а значит просто, а вверху, на небе – там благодать, непостижимая и таинственная. Там ангельские голоса и ангельская речь.

Философ просиживал в библиотеке долгие часы, удивляя родных и близких; он обрёл одухотворённость и возвышенность – свойства редкие для людей, но тем не менее иногда встречающиеся. В равной мере он постиг и честь, и благородство духа, и чистоту намерений, и покорность.

В десять лет Константину стало скучно в младшей школе, и родители, желая дать ему лучшее возможное образование в Салониках, чтоб с ним не разлучаться, отдали его в грамматическую, среднюю школу.

Однако и там он впитывал знания словно губка. Всё, о чём рассказывал старший учитель, он уже прочитал, а помощники учителя – смыслённые ребята на год или два старше самого Философа – знали куда меньше, чем Константин, и оттого требовали только тупой зубрёжки. Философ же любил понимать, осознавать, докапываться до сути. К тринадцати годам он увлёкся теологией со всей бескорыстной заинтересованностью на грани фанатизма, которой порой так отличаются подростки. Но в его случае это не было обычной увлечённостью, ибо наука давалась ему с лёгкостью, неведомой прочим ученикам, и вскоре он мог поспорить с местными священнослужителями. И не просто мог, а Философ и поспорил, выбрав тему иконопочитания, что вызвало определённый к нему интерес, и не миновать бы беды, если б не логофет.

А начиналось всё с вполне безобидных вещей: в одиннадцать лет Философ проявил интерес к поэзии...

2. (Лето – осень 838 г.)

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

Разве ты не знаешь, сын мой, как мало надо ума, чтоб управлять миром?

Папа Юлий 2 или Аксель Оксентьерна

Послеобеденное солнце уже не могло светить ярче и жарче: землю испещряли трещины, пожухлые травы опустили измятые листья, а с выложенной каменными плитами императорской дороги местные дворники за целый день не убрали ни одного конского яблока, и никто их в том не собирался винить и попрекать – ведь стояла самая жаркая пора года – каникулары, или «собачьи дни», когда солнце проходило созвездье Большого Пса, и на рассветах ярче всего светил Сириус – собачья звезда.

По такому-то зною кисловспотевшие кони везли серую, запыленную от дальнего пути карету-каррус на скрежещущих колёсах и с вензелеобразным крестом на дверцах. С виду в ней не было ничего выдающегося: обычный возничий в побитой молью одежде и широкой дырчатой соломенной шляпе, скрывающей лицо от нещадного солнца; обычные взмыленные кони – обладатели не угадывающейся из-за комьев грязи масти: то ли каурые, то ли чалые – и не разберёшь, пока не искупаешь в чистых водах. В общем, это была самая обычная (непрочная, на плохих рессорах из тугих кожаных полос) крытая повозка из тонкой древесины. Назойливо поскрипывая, она ехала по Виа Игнации – древней Огненной дороге, построенной язычниками от Диррахия на берегу Адриатики до Византия и заново выложенной христианами от Константинополя до Салоник.

Необычным было другое – такое-то страшилище беспрекословно впустили в личные городские владения друнгария. Лишь увидев каррус издали, стражники засуетились, послали в дом гонца и скинули под стол игральные кости. Они могли бы расстроиться по поводу появления этой треклятой кареты, но, наоборот, их лица за долгие месяцы скучного ничегонеделания впервые озарили искренние улыбки, а в головах промелькнула мысль: «Мы не зря служим своему господину». Это было бы правдой, не знай они всех подробностей давней дружбы их господина с приезжим...

Карета остановилась, вздрогнув, посреди ухоженного двора, окружённого садом. Кони всхрапнули одними губами, обрамлёнными белой пеной, и, опустив головы, задремали, не ожидая, когда их распрягут и поведут в прохладные стойла.

С крыльца сошёл Лев и, подперев руками бока, проговорил медленно, растягивая слова:

– И кто к нам пожаловал? Неужто Сам?!

– Да, я! – раздалось из-за зашторенного каретного окна. – Не поверишь, уж и пожалел, что поехал! Думал, в дороге отойду в царство небесное, с тобой не повидавшись, – дверь отворилась, и показалась толстая нога в бордовой сандалиии, а затем и полная фигура в богатой, сшитой из синского шёлка тоге. – Лев! – крикнул логофет. – Ты полгода не был в столице! Что-то не так? Обидел кто? Почему я сам должен к тебе ехать?

– Тебе здесь нравится, я знаю, – и друнгарий, взяв за руку тяжело дышащего логофета, повёл его в дом. – Молодец, что приехал: Михаил как раз в гостях. На пару дней вырвался к нам – родителям. Всё по службе хлопочет.

– Это правильно. О родине надо заботиться, и она ответит тем же, – примирительным тоном заметил Феоктист и дал себя увести со двора в приятную прохладу здания.

Они прошли в общую залу, где легли на обитые охлаждающим бархатом софы, и продолжили беседу.

– На последних играх, говорят, победил Сармат? – спросил Лев.

– Да, видел бы ты это!.. Красиво всех обошёл, не поспоришь, – подтвердил Феоктист. – Только он никакой не сармат... и не грек, а обычный армянин, каких пропасть по империи разгуливает... А слухи допускает вокруг себя Бог знает какие, и, спрашивается, зачем они? Ну, выиграл три забега на ипподроме, так теперь что? В политику лезть? Нет, я тебе так скажу: нож под ребро его вскорости ожидает в какой-нибудь вшивой подворотне, а он обожает по ним гулять... Забудь и не переживай. Феофил, наш помазанник Божий, найдобрейшей души человек, не любит слишком

популярных среди плебеев персон. Хм, думаешь, могут возникнуть серьёзные проблемы с ним? Вряд ли.

– Я думал, ты из-за него приехал. Слухи ходят...

– Слухи слухам – рознь... Не всему стоит верить. Делать мне больше нечего, как из-за простонародных выскочек к тебе приезжать! Я просто соскучился, друг мой, – и логофет расплылся в улыбке. Про него много плохого можно было сказать, но Лев чувствовал его интуитивно и понимал: друг не предаст. Для Феоктиста, пережившего и муки, и стыд, и унижения, и предательство, и, главное, добившегося собственного признания при дворе несмотря ни на что, старая дружба – надёжный маяк и привет из прошлого, которое могло стать настоящим и будущим – та же служба, те же проблемы, то же счастье отцовства.

– Ты без сопровождения!

– Зачем мне охрана на землях, кои ты охраняешь? Я тебе доверяю!

– Феоктист, не лести, ты не предупредил даже!

– Разбойников последних у вас ещё лет шесть назад повесили, с тех пор тишина. Как его звали? Никодим, кажется? Так кого мне бояться? Мне? Логофету... Все дороги империи мне подотчётны.

– Даже имя помнишь, да, Никодим, мясом торговал, было дело.

– Мне-то как забыть? Он же одного араба зарезал и двух итальяшек. Скверный случай. Да вот на нём я и вылез... Император оценил моё скорое искусство в поиске убийц.

В залу вошла Мария, окружённая славянскими служанками, на хитрых лицах коих читалось любопытство, хоть глаза и смотрели больше в пол, чем по сторонам. Логофет, зачастую не замечаемый женщинами, смутился и, привыкший отдавать распоряжения, оробел, но, впрочем, как человек деловой, быстро взял себя в руки. Мария была выше его мечтаний: она была прекрасна как никогда. Она желала произвести хорошее впечатление, и ей это удалось. Лишь служанки сообщили, что прибыл важный гость, как она отправилась прихорашиваться, и совершенно не зря и не бесполезно: даже будучи семижды роженицей, она смогла сохранить фигуру, притягивающую взгляды мужчин. Логофет радушеествовал:

– Здравствуй, краса души моей. Да, виноват, давно не был в гостях... А вы сами? Всё по домам сидите, нет чтоб к нам в столицу на Пасху съездить... беспечальный народ! Ради такой красоты император приём устроит в неположенный день! Мария приняла лесть как должное и жестом отпустила прислугу. Те, смущённо скособочившись, выскочили из комнаты и, громогласно захихикав в гулком коридоре, разбежались по дому.

– Ты им многое позволяешь! – сказал Лев.

– Они – женщины, – парировала по-гречески Мария, щёлкнув бронзовой застёжкой на платье, – будешь переучивать – станет хуже... Логофет, я вас давно не видела. Какой путь привёл вас в наши края?

– А путь один, – вздохнул логофет, – судьба Михаила.

Его хотят отправить на восток.

– Только не к этим язычникам! – скороговоркой выпалила Мария и присела на софу к мужу.

– Что ж поделать! – слишком весело произнёс логофет. – Феофил недавно вернулся из покорённой... скорее, разорённой Запеты. Это родина калифа Мутасима. Наш Феофил жестоко обошёлся с местным населением... устроил резню. Калиф во гневе. Что-то наверняка замышляет, так что без столь верных и талантливых командиров на востоке не обойтись...

Лев, хорошо знавший своеобразное чувство юмора Феокиста, потупил глаза:

– Он как раз дома. Отдыхает. Позвать?

– Ну, – лёжа на софе, деланно взмахнул левою рукою логофет, – если вас так заботит судьба сына... можно и без него.

– Ей, Белыни! – крикнула Мария живо. – Михаила зови к нам!

Михаил был высок ростом, широк в плечах. Его гордая стать совсем не соответствовала лицу, по-детски открытому, доброму, даже мягкому, и только наметившаяся морщинка над переносицей меж густых бровей выдавала его сильную волю и умение командовать.

Феокист для вида поспрашивал, как обстоят дела в Македонии, как служба, есть ли пожелания и жалобы.

Михаил постарался рассказать всё как можно обстоятельнее, думая, что логофету и правда интересно, пока тот не поднял десницу, требуя тишины.

– Михаил, – проникновенно и торжественно, как умел только он один, проговорил Феокист, – твои заслуги в усмирении славян не остались незамеченными при дворе. Я прибыл сообщить... грамота со мной... император Феофил своим высочайшим соизволением производит тебя в друнгарии с переводом во Фракию. Хотели на восток куда-нибудь, но я отговорил, – и со значением посмотрел на Льва.

Тот вскочил, радостно обнял сына, затем подмигнул жене и самолично разлил всем вина по обсидиановым кубкам. Подав кубок логофету, преклонил голову.

– Перестань, – сказал Феокист. – Мы не чужие люди.

Михаил стоял как оглушённый громом: друнгарий, а ведь ему недавно минуло двадцать три года... он слишком молод для этой чести.

– Ты это заслужил, – сказал логофет и, так и не отхлебнув, убрал кубок в сторону. – Завтра со мной поедешь в Константинополь, император лично произведёт тебя в друнгарию. А теперь ступай – обрадуй друзей.

Всё ещё не веря своему счастью, Михаил удалился.

Невыносимая жара спала, когда солнце уже висело над самым горизонтом. Его ослабевшие лучи окрашивали мир в нежные оттенки красного, порождая таинственные причуды сначала едва заметных полутеней, а потом и тяжёлых тёмных провалов.

Лев и Феокист прогуливались по саду, чья влажность усиливала благоухание цветов.

Там же резвились Константин и дети слуг, громко смеясь и прячась по кустам, то и дело нападая друг на друга с деревянными мечами.

Философ, как обычно, вскоре отбил от остальных и присел под кустом, что-то разглядывая в кошеной траве.

– Константин! – позвал Лев и добавил, обращаясь к Феокисту. – Он постоянно один. Постоянно за книгами. Постоянно бормочет под нос что-то невнятное... Я ему сокола дарил три года назад. К охоте приучить хотел. Думал, пусть к делу приучается с малолетства, а подрастёт, друзьями обзаведётся, так вместе охотиться будут. Оно ж не просто развлечение, сам понимаешь. Друзьями в азарте становятся... Так он сокола упустил. В первый же день. Так расстроился... Сказал, что пытался поговорить с ним, представляешь? Птицу несчастную замучил. Эх!.. Вот и сел за книги потом. Я в его года и десятой части не прочёл...

Константин послушно подошёл к ним и поздоровался с логофетом. Тот с любопытством разглядывал мальчика и находил его необычным. Вкрадчивый умный взгляд, словно смотрел сквозь. Грязные, испачканные землёй пальцы сообщали о спокойствии их владельца: они не теребили тунику. Высокий лоб выдавал самостоятельность и самобытность мыслей. Логофет впервые увидел ребёнка, который уже был вполне взрослым.

Какие игры со сверстниками?!

– Что ты там разглядывал? – спросил Лев.

– Жука, – просто ответил Константин, – он такой крупный!.. и забавный.

– Ты разговаривал с ним? – спросил Феокист.

– Нет, – глянув мельком на отца, ответил мальчик, – я его слушал.

А он только крыльями жужжит... бессмысленно. Зато красиво.

– Хм, знаешь что? – свёл брови логофет и продолжил. – А вышлю-ка я тебе подарок из столицы. Тебе должно понравиться: и красиво, и со

смыслом. Ступай.

Когда мальчик отошёл от них, Лев поинтересовался:

– Что ты ему хочешь подарить? – немного настороженно.

– Книгу, – ответил Феоктист отрывисто. – Просто книгу, – и, задумавшись, замолк.

Уже через неделю Константин под грузом восторженных взглядов домочадцев стоял на коленях перед обитым красным бархатом ларцом с золотыми ободками. Щёлкнул замок, и Философ осторожно приподнял крышку. Внутри лежала книга. Не тот свиток, что запросто можно взять в городской библиотеке или попросить у отца, а настоящая книга, подлинное сокровище. Произведение искусства писца, выдельщика кожи, ювелира, художника. Фолиант, стоящий целое состояние. Такие держат в домах под замком и показывают разве что дорогим гостям. Читают ли? Разве что с благоговейным трепетом и крайней осторожностью, дабы ничем не испортить книжную красоту.

Михаил, только что вернувшийся из столицы и доставивший ларец с дорогим подарком, засмеялся:

– Даже я не знал, что тебе везу от логофета! Он сказал, что в ларце нечто значимее, чем моё назначение в друнгарию! – он был под впечатлением от аудиенции у императора и от своей новой должности, что, впрочем, не мешало ему разделять чужие радости.

Константин же вынул книгу и с трудом положил её на стол: так она была тяжела! Переплёт из телячьей кожи, серебряная пряжка и серебряные же двойные лямки крест-накрест, инкрустированные драгоценными камнями. Открыв книгу, он провёл ладонью по гладкой странице свежего пергамента, украшенной около рисунками, вплетёнными в орнамент из красных, синих и жёлтых полос. Страница оказалась прохладной. Философ стал читать. В книге были написаны стихи, стихи Григория Богослова.

* * *

Двери константинопольской школы ритора были всегда открыты перед логофетом. Феоктист не мог этим не пользоваться и частенько приходил к родным пенатам, давшим ему путёвку в жизнь. Здесь он не просто беседовал с преподавателями, а заручался поддержкой, плёл интриги, сводил нужные знакомства, как свои, так и своих сторонников. Став логофетом, он пристально следил за учебным заведением: за преподавательским составом (кто благонадёжен, кто нет), за своевременным финансированием (чтоб было достаточно щедрым, но соразмерным с реальными

потребностями). За казнокрадство и инакомыслие сурово карал, умело балансируя между наглостью и осторожностью: вероломностью властвовавших иконоборцев во главе с императором и хитростью иконопочитателей под тайной эгидой императрицы. Религиозные взгляды имели прямое отношение к личностям учёных: ни один из них не мог преподавать, пока досконально не выучит богословские теории и не докажет своё к ним отношение (за ярую приверженность к иконам логофет вынужден был наказывать, а за иконоборство – наоборот). Но на деле всё оказывалось несколько иначе: главное, чтоб почитатель икон не заявлял о своих воззрениях во всеуслышание, а иконоборец не увлекался своими мыслями по поводу и без и не впадал в ересь, не отрицал современного порядка вещей и, конечно же, выступал за политику, проводимую императором, а подчас и логофетом. Феоктист старался учитывать всё, что мог, всегда извлекая выгоду из разногласий между соперниками по византийской вере.

Любил Феоктист и поприисутствовать при учёных публичных спорах – диспутах. На них оттачивались как мастерство риторики, так и гибкость ума. Победители споров обзаводились авторитетом, а заодно и своим мнением, и потому их нужно было загодя привлечь на свою сторону, если таковое представлялось возможным, в противном случае логофет считал своим долгом перед империей устранить плевелы.

После очередного диспута, под шум слушателей и участников одного, логофет поманил за собой Льва Математика, одного из своих верных сторонников, и удалился с ним в пустующую комнату, плотно прикрыв тяжёлую дверь. Здесь когда-то располагался его личный кабинет, но прошли годы, Феоктист пошёл на повышение, а комнату так никто и не занял.

– Лев, – сказал Феоктист, отходя к окну, – чует моё сердце недоброе... Император неистовствует, Варда молчит, войска в замешательстве.

– Что ты имеешь в виду? – не понял учёный, по привычке сощурился глаза. – Захват Амория?

– Тихо, – сказал логофет и тяжело оперся о стену. – Говорил я Феофилу, предостерегал... Нет, напал на Запетру, родину калифа... арабы никак не ожидали. Там и войск-то не было, только гарнизон небольшой. А у нас в кои-то веки стотысячное войско. Лёгкая добыча! Просто избиение младенцев... А теперь что?.. Калиф поклялся отомстить и захватил Аморий... По иронии судьбы – родной город нашего императора... Ха- ха... Феофил едва спасся. Такого поражения мы не знали с их вторжения на Крит.

– Война идёт с переменным успехом далеко не первый год, – возразил Лев Математик, не слишком искушённый в политике и не понима-

ющий, что так встревожило Феоктиста.

– Война, может быть, и да – с переменным, – сказал тот, – а вот здоровье императора не должно быть переменным. Он и так постоянно рискует головой в сражениях.

Лев Математик присел на стул, провёл пальцем по пыльной столешнице:

– Что с Феофилом? – и уставился на серую от пыли подушечку указательного пальца, дунул. Пылинки не разлетелись.

– Утром его свалил недуг. Думаю, из-за сильных переживаний. Император хоть и молод, а вдруг милостью Божью помрёт? Что дальше? Варда что-то замышляет...

– Да сколько можно! – почти перейдя на крик, вскочил Лев Математик. – Варда умён и достаточно благоразумен. Вполне приличный человек, а ты весь в подозрениях! Подумай лучше о персе...

– Перс-перебежчик Феофоб популярен в народе как никогда. К нему сейчас не подступиться. Он же главнокомандующий. Но это его и погубит. Потеря Амория... Империя такого не прощает. Пусти слух в народ. Пусть плебс сам отыщет виноватого. Будем надеяться на выздоровление императора. Но пока он болен, Варда силён...

За дверью раздался протяжный тихий хруст. Феоктист вздрогнул и выжидающе воззрился на неё, а Лев Математик ослабил.

– Фотий! – крикнул учёный, обернувшись на звук, – я знаю, ты подслушиваешь!

Дверь с раздражающим скрипом отворилась, и в комнату вошёл молодой человек, победивший в сегодняшнем диспуте.

Логофет ухмыльнулся:

– Лев, ты меня боишься? К чему шпионы?

– Я всех боюсь. А тебя в особенности, – спокойно ответил Лев Математик. – Верные люди всегда рядом. А этого и просить не надо: сам пролезет, куда угодно, ради родины. Ну да любопытство – не порок, ведь так?

Логофет с интересом разглядывал вошедшего. Среднего роста, болезненная худоба, синева под глазами. Чёрная лоснящаяся накидка поверх бежевой недорогой тоги. Мягко-карие глаза смотрят и хитро, и смущённо, словно выискивают нить Ариадны в темноте.

– Давайте вас познакомлю! – сказал Лев Математик. – Это – Фотий. Мой ученик. Моя школа. Очень одарённый. Бог милостив к его разуму. Уверен, его ждёт... блестящая карьера... А это – наш логофет дромы Феоктист. Ну да ты про него знаешь и так достаточно. Как ты слышал, ему нужна наша помощь.

– Сколько тебе лет? – надменно выпалил Феокист, как привык общаться с подчинёнными, но поджав губы, словно от обиды. Логофет пребывал в замешательстве, не зная, чего ожидать, а таких ситуаций он не любил. Не клеился разговор с учёным.

– Восемнадцать, куратор, – ответил Фотий и уставился в пол.

– Я подумаю над твоим предложением, – сказал логофет Льву Математику. – А ты помни про императора... и Варду, – и быстро удалился, хлопнув дверью. В считанные мгновенья он для себя многое понял и на многое решился.

Повисла тишина. Фотий поднял взгляд и тихо спросил:

– Что произошло?

– Я продал тебя подороже. Феокист хитёр. Он всё смекнул. Мы ему окажем поддержку, когда понадобится... Если понадобится... А ты, думаю, вскорости получишь назначение. Как-то так... Не будь я – Математик.

Но он ошибся, совсем немного. Феокист действительно был хитёр.

Буква вторая БОУКЫ

1. (Весна – лето 839 г.)

Полагая, что в этой находке есть нечто божественное, наученный овцою состраданию, Дриас взял девочку на руки, положил памятные приметы в кожаный мешок, и, обращаясь к Нимфам с молитвой, просил, чтобы они послали ему счастья за его заботы о маленькой их дочке. «Дафнис и Хлоя», Лонг (перевод Д. С. Мережковского)

Одним весенним ранним утром, лишь только первые лучи пробили фиолетовую мглу над холмами полуострова Халкидики, Никита-скудоумец выбрался из-под рыбачьей лодки и направился к торговым докам. По пути он то и дело заходил приступами кашля, отхаркивая рыжую мокроту на прибрежную солёную гальку, или же чихал, содрогаясь всем своим тщедушным тельцем. Прожил он уже полвека, но мутное сознание не позволяло ему припомнить что-нибудь важное из своего прошлого. А то, что он помнил, не вызывало отклика в его душе. Зато он наслаждался каждым мгновением настоящего и любил свою жизнь, как ни один вельможа. Кормился он обычно на базаре или у монастырей. Священнослужители всегда его привечали, а простолюдины почитали его за блаженно-го, ценили за доброту и побаивались.

Ступая босыми ногами по неструганым доскам причала, Никита-скудоумец непрестанно поглядывал в сторону пустующих торговых лотков. Скоро уже проснутся люди, и жизнь закипит. Местные торговцы откроют свои лавки, а заморские и иноземные перекинут мостки на причал, отопрут трюмы и понесут товары на прибрежную базарную площадь, занимая лотки согласно договорам.

В желудке заурчало, и дурачок спустился на площадь. Может, что-нибудь осталось со вчера? Рыбий хвост или краюха хлеба? Может, заваялось что-нибудь в пыли, немного подгнило, а те и побрезговали? Примерно так он думал, бродя среди утреннего запустенья. Тишина, слышны были птичьи переклички да шум прибоя, настолько привычные, что Никита-скудоумец и не замечал их.

Вдруг раздался истошный детский крик и невнятное разногласное ворчанье. Никита обернулся на переполох и увидел, как свора собак терзает девочку. Собак восемь, у них ещё не кончились свадьбы, и в брачном экстазе они потеряли рассудок. У двух морды в свежей крови. Кровь соперника или, не дай Бог, этой самой девочки?

Никита бросился к ним, оторвав от лотка палку, не ведая, откуда взялись силы.

– Черти! Но!.. Собака, во грязи адамовой виноватая! Пошли, черти! Волосатые шкуры! – с такими криками он разогнал стаю. Получив палкой, те быстро ретировались, забыв про девочку – такую лёгкую добычу. Они боялись взрослых, пусть и скудоумных, признавая их превосходство. Никита оглядел девочку. Та плакала. Туника, и без того годившаяся разве что на тряпку, была окончательно разорвана, на руках и ногах алым расцветали укусы, по лодыжке струилась кровь.

– Ангел! – сказал Никита-скудоумец, – претерпи, пойдём со мной. Глаза ангела. О, я вижу!

Девочку бил озноб. Никита с трудом поднял её на руки и, громко сопя и шатаясь, понёс её в город.

Никита-скудоумец постучал в двери монастыря. Здесь его частенько привечали. Сердобольная сестра Анастасия ему особо покровительствовала, бывало, что даже в пост выносила куски мяса, полагая, что чистой его душе от того хуже никак не будет, а плоть его поддержит.

При виде испуганной, окровавленной девочки монашки переполошились. Охая, всплескивая руками, увели её в тёплую комнату и обмыли раны.

Сестра Анастасия расспросила дурачка и поблагодарила. Он говорил сбивчиво, но про собак она сразу поняла. Она накормила его и, дав с

собой хлеба, отпустила, истово перекрестив. Девочке остановили кровь и смазали раны. У неё начался жар и бред. Почти весь день она металась по кровати. Сестра Анастасия не отходила от неё несколько суток. Когда девочка пошла на поправку, монахиня расспросила её, кто она и откуда. Оказалось, что местная, а зовут её София. Мать Софии умерла два месяца назад от зимней хвори, приходящей каждый год, а отца уже давно не было, так что жили они впроголодь, а по смерти матери так девочка и вовсе оказалась на улице: родственники не взяли к себе, а хижина отошла соседу.

Сестре Анастасии понравилась эта худенькая, миниатюрная девчушка. Софии было десять лет, но выглядела она сущим ребёнком. Добрая, доверчивая и боязливая, она, сама того не подозревая, разбудила в монахине материнские чувства, и та взяла её под своё крыло.

Решено было оставить Софию в монастыре в качестве одной из воспитанниц.

Приближалось лето. Константину на занятиях становилось всё скучнее: он заранее прочёл большую часть изучаемых курсов, и ничего нового для себя не открывал в ставших тесными стенах. Интересовало его в это время другое – поэзия...

Стихи Григория Богослова произвели на Философа, ещё ребёнка, неизгладимое впечатление. Написанные гекзаметрами, подобно великим творениям древности, они несли христианские наставления и поучения, одаривая мудростью – житейской и церковной. Вечерами он их заучивал наизусть, читал и думал, что божественное когда-нибудь возьмёт верх над мирским. Вселенная представлялась ему прекрасным зданием, храмом, непостижимо величественным, отражающим всё величие его архитектора. Под куполом этого храма звучала речь, и пусть разноголосица была наказанием за гордыню, за попытку строительства чего-то столь же величественного – Вавилонскую башню, всё же и эта разноголосица была Его творением, а значит такой же прекрасной, как и всё здание, такой же значимой, как часть Его Замысла. Всё в мире имеет красоту и значение. Всё подчинено единой воле, и нет ничего лучше, чем служение ей. Но слепо служить – не для мудрых людей, нужно постигать, не оскорбляя праздным любопытством, но благоговей перед грандиозностью храма, который и есть – весь мир.

– Воля Его превыше всего. И мы не можем знать до самого конца, чего Он хочет. Но мы знаем, что Его воля – благая воля. А посему выполняем её и следуем Завету. Мы служим ему ревностно и искренне. Мы открыты сердцем и чисты помыслами нашими. И мы несём разум, но

отвергаем его, ибо знание несёт искушение. Нам подобает быть вдвойне осторожнее, – так сказал ему после очередной воскресной исповеди святой отец.

– То есть, знание – зло?

– Нет, но так повелось от Евы, что знание и искушение ходят рука об руку. Чем больше знаешь, тем больше встречаешь искушений, так что нужно остерегаться разума своего и уповать на ниспосланные озарения. Почитай книги, написанные под озарением людьми святыми и праведными.

Философ последовал совету и взял в библиотеке теологические труды Григория Богослова, чтоб лучше понять его стихи.

При виде такого вечернего чтения Лев только почтительно крикнул.

– Не рановато ли, Константин? – спросил он сына.

– Всё лучше, чем школьные свитки, – деловито ответил тот, конечно, многого он не понимал, но не мог признаться в этом. И была ещё одна трудность: некоторые вещи Григория Богослова, как оказалось, написаны на латыни, которой Философ не знал, о чём и сообщил отцу.

Лев улыбнулся, его развеселила показная взрослость ребёнка. Он не захотел ей подыгрывать, но проникся ею и ответил на полном серьёзе:

– А знаешь, к нам в город человек приехал. Известный учёный муж, к тому же латинянин. Я устрою тебе с ним беседы, может быть, даже уроки, – и стал задувать окружающие кровать свечи.

Но затея с приезжим учёным, к огорчению маленького Философа, провалилась.

Филипп Андрианопольский, знаток латыни и римского права, наотрез отказался от образовательных бесед: плата совсем его не заинтересовала, а строгий взгляд друнгария не возымел действия.

– Я удалился из столицы, чтоб побыть в уединении, а не учительствовать, – мягко, но настойчиво ответил он Льву. На то имелись веские причины, о коих Филипп стеснялся распространяться: на последнем диспуте его наголову разбил Фотий, молодой, но довольно известный учёный, виртуозно жонглирующий фактами и логическими выводами. А проиграв и уйдя с позором, он, как человек редкого благородства, решил, что просто не имеет права кого-либо учить после подобного.

Но Философ уже загорелся: ведь в школе не преподавали латинский язык, а в библиотеке он видел так много римских свитков. Конечно, алфавит он изучил и мог уже читать, но большая часть текстов оставалась для него просто набором букв. И Константин подговорил Агапия узнать,

где живёт Филипп Андрианопольский, и проводить его туда.

И вот, подкараулив учёного у дверей, когда тот уже собирался войти в дом, Константин подскочил к нему и схватил за рукав туники.

– Вы же можете! Научите меня! Хотите? Хотите, я отдам вам свою часть отцова наследства? Мне не жалко!

Филипп от неожиданности отшатнулся, но, увидев, что перед ним просто отрок, улыбнулся и потрепал его по волосам.

– Так это ты сын друнгария, значит? Учёным быть хочешь?

– Мне интересно учиться, – не то подтвердил, не то опроверг Философ.

Мужчина увидел Агапия, безмятежно попинывающего камешки, и сразу смекнул, что это сопровождающий, кивнул, мол, подходи.

– Тогда тебе надо в Константинополь. В школу ритора.

Она лучшая во всём божьем мире.

– Нет, – вдруг ответил за мальчика Агапий. – Б-большой город д-далеко. И люди там з-злые. Хозяин его н-не отпустит.

Филипп пристально посмотрел на раба, потом перевёл взгляд на мальчика. Константин утвердительно шмыгнул носом. Был такой разговор со Львом.

– Что ж, твой отец прав, – помрачнев, ответил учёный и жестом пригласил их войти в дом.

Оказавшись внутри небольшой полутёмной комнаты, пропахшей кислым козьим молоком и горелым маслом из лампадок, они сели на цинковку у окна.

– Итак, что же ты хочешь изучить?

– Латынь... и иврит... и много чего...

– А что ты читаешь сейчас, для себя?

Философ признался, что пришлось ему по нраву стихи Григория Богослова, и что он знает их уже наизусть.

– А сам?

– Что сам?

– Пишешь?

– Да, – Константин смутился. – Как вы догадались?

– Читай.

И Константин прочитал своё лучшее стихотворение, созданное в стилистике поэзии Богослова:

– Ты человек, о, Григорий, телом своим, но душою – ангел!

Быв в человеческом теле, явил себя ангелом с неба!

Что серафимы, уста твои славят Бога

И просвещают учением правой веры.

Так же прими и меня с любовью и верою,
Стань мне учителем и просветителем также!

... Ушёл Философ от Филиппа окрылённый, хоть и отказал учёный в уроках. Но впервые Константин почувствовал поддержку и одобрение со стороны и впервые поставил перед собой цель: поступить в школу ритора. Но для этого надо было ещё учиться, ведь это учебное заведение как выпускало, так и выпускало только самый цвет нации.

Больше они не виделись.

Наступило лето. Именитое семейство Льва переехало на загородную виллу, окружённую виноградниками, перелесками и оливковыми рощами.

На природе Константин и дети прислуги резвились, как только могли, фантазируя и выдумывая шалости. А сельская жизнь сама к ним подстёгивала: столько места, где можно укрыться от взрослого надзора, придумать свой мирок, создать свои правила игры, в которой примут участие многие: и рабы, и крестьяне, и просто случайные путешественники – торговцы или артисты. Если последние – то праздник особый.

То затеют шуточный поход в неведомые дали – за край владений, заплутают там среди дерев, влекомые нимфами, разведут костёр, познакомятся с местными, что придут на огонь, и станут слушать, а подчас и рассказывать какие-нибудь жуткие истории про духов, мертвецов и привидений.

То задумают шалость в оливковой роще, дразня работников и с громким улюлюканьем ломая деревья.

Но самое интересное происходило на виноградниках: отвлекая внимание рабов и вольнонаёмников, набирали неспелых плодов и схранивали их в тайном месте, а потом всей гурьбой босыми пятками топтали полупропавшие виноградины в деревянном корыте и, смакуя, пили, не столько пьянея, сколько больше представляясь между собою.

Константин так же проказничал, бегал и смеялся, предавшись детским забавам и позабыв об учёности. Его уже не волновали латынь и хитросплетения богословских премудростей, мысли о божественном храме и его красоте. Он окунулся в эту самую красоту с головой, ни о чём не задумываясь. Но иногда между затеями он заводил разговоры о чём-нибудь интересном и необычном, подталкивая старших приятелей уподобиться Михаилу, который так владел искусством разговора и был великолепным рассказчиком. Далеко не всегда Константин находил отклик, заводя сии разговоры и рассказывая истории. Сам ещё не осознавая, он подражал Михаилу – и в открытости, и в манере повествования. Он говорил про Божественный промысел, про грех слепого знания, про многое, касающееся

своих наблюдений за людьми.

Только одного он не говорил никому: того, что ему нравится смотреть в сторону колодца, к которому ходят с кувшинами девушки. Философ с младенчества знал о любовных делах: служанки, говоря с матерью, ни капли его не смущались, да в их среде это было и не принято.

Философ не мог противиться природе и часто ходил к колодцу. Затаив дыхание, смотрел и думал о себе с некоторой долей отвращения. Он знал многое, но не понимал, что превращается в юношу, и не представлял, какие бури приносит сей возраст.

2. (Весна – лето 839 г.)

ДИОНИС

*Не надо лучше! Всякий раз, как вижу я
В театре эти штучки знаменитые,
Иду домой, на целый год состарившись.*

КСАНФИЙ

*Чтоб ты свернулась, шея злополучная!
Вся в синяках, а пошутить не велено.*

«Лягушки», Аристофан (пер. А. Пиотровского)

Вечерело. Сырой воздух пробивался в походную палату друнгария и стелился исчезающим туманом. Михаил повёл плечами и оторвался от карты.

На местный тракт повадились разбойники. Они приходили с болгарской стороны и грабили всех без разбору: и торговцев, и крестьян. Несколько человек были убиты, а кто-то, проехав по дороге, не оставлял о себе даже памяти: ни труп, ни повозки, словно все проваливались сквозь землю.

Надо было навести порядок, но что делать, Михаил просто не знал. Разбойники что ветер в поле – не отыщешь. И приходилось ждать и выезжать конным дозором в надежде на них наткнуться.

Михаил свернул карту и хотел было пойти к костру погреться, как огонь в светильнике взметнулся, едва не погаснув, открылся полог, и показалась голова стражника:

– Там гости.

– Задержать, – с готовностью сказал друнгарий и вздохнул. Может, это они.

Он вышел на свежий воздух и спустился к дороге.

Его люди остановили две повозки и переговаривались с приехавшими.

– Что там? – спросил громко Михаил и приблизился к ним.

– Говорят, из Константинополя. От императора. А сами оборванцы. Смех! – весело доложил Алексей, правая рука Михаила.

– Вот, – сказал возница, подойдя к ним, и протянул кожаный чехол, снявши с веревочки на шее.

Михаил взял его, раскрыл и выудил двумя пальцами свиток пергамента, пробежал тот глазами.

– Значит, музыканты странствующие?

Возница кивнул.

– Осмотреть повозки, – скомандовал друнгарий, возвращая документ и чехол.

– Они по-гречески не понимают, – сказал возница. – Совсем ни слова. Дикари какие-то. Но императору уж больно понравились. Они во дворце у него выступали. Вот, мне поручили их доставить в Венецию и сбить на руки послу Феодосию.

– А где охрана?

– Музыканты же, а не вельможи. Меня одного отрядили, да вот грамотку дали.

К костру вышли с десяток человек, в штанах, рубахах, меховых накидках. Две девушки, три парня, остальные старики почти. Все статные, старики длиннобородые.

– Всё чисто. В телегах нет ничего подозрительного, – доложил Алексей. – Разве что арфы странной конструкции...

– Хорошо, – сказал Михаил, – переночуют с нами. Так им же безопаснее будет. Эй, переводчик!

– Я перевозчик, – парировал возница смущенно. – Я не понимаю их языка.

Друнгарий подошёл к музыкантам и указал на костёр. Те благодарственно кивнули и заговорили меж собою. Михаил удивлённо приподнял густую бровь: говорили они на славянском, немного непривычном для его уха, но вполне понятном.

– Вы есте родомь из коих земель? – спросил он на языке, на котором привык общаться с матерью.

Теперь музыканты удивлённо посмотрели на Михаила. Они проехали пол-империи, но впервые встретили военного, который бы заговорил на их языке.

– Мы из северных земель есм, – сказал старший. – Зовем ся русь. Зело далече отсюда мы живем. У студеного моря в дрягве и в лесах. Играем гусли да поем. Велес в помочь.

– Поите нам, – попросил Михаил и обратился по-гречески к Алек-

сию. – Пусть подадут ужин. Всем пора поесть. И музыкантов накормите. После послушаем северных песен. Славяне они, только не местные.

Учтиво кивнув, Алексей пошёл отдавать распоряжения насчёт ужина.

– Мене нарекли суть Неждан, – сказал славянин. – И те – Белян, Лют, Бос... Снежена.

Уже ночью, когда природа смолкла, и разве что ветер шелестел по листве, над лагерем раздались первые пробные звуки гуслей. Потом они стали уверенней, упорней, и старик запел. Только Михаил и знал, о чём песня. Словно для него одного она разливалась по холмистому лесу. О славном походе до Иньского края и об охоте в родных лесах.

Потом пели и девушки, и юноши, а Михаил удивлялся: живут так далеко, а говорят понятно. Чуден мир Твой, Господи, подумал друнгарий и поймал взгляд Снежены. Девушка потупила взор. «Я ей понравился, – подумал Михаил, – надо будет с ней поговорить... наедине, если позволят».

В конце месяца Иуния, сразу по дне святых апостолов Петра и Павла, завершив неотложные дела в монастыре, сестра Анастасия объявила о своём намерении поехать в монастырские уголья, чтоб лично проверить, как идут дела на полях и в плодовых рощах. Истинным её намерением было поправить здоровье подопечной Софии, которую она брала с собой. Никогда прежде сестра Анастасия не изъявляла желания посещать монастырские земли и вдруг загорелась, стала только и говорить о необходимости личного присмотра. Впрочем, сёстры не удивились, да и не стали осуждать: всем нравилась тихая прихрамывающая девчушка со спокойным и добрым взором, болезненно-слабая и худая. Её выхаживали всем монастырём, но пища была скудная, стены изъедала пахучая плесень, а из подвалов несло сыростью. В таких условиях сложно было поправиться, и монахини сочувствовали новенькой воспитаннице. Сестра Анастасия отдала последние распоряжения по хозяйству, переложив обязанности на сестру Евсигнию, свою близкую подругу и поверенную, собрала в келье необходимую одежду и утварь и отправилась на кухню за продуктами в дорогу.

Софии собирать было нечего: одно шерстяное рубище да тонкая льняная рубаха до пола, которые ей выдали, – вот и все пожитки. Ходила она вообще босиком – сандалии должен был справить мастер, живущий неподалёку, но он не торопился. Ножки ж Софии были настолько крохотны, что обычная обувь сверстниц была ей велика.

Каждую неделю воскресеньем София видела у задней калитки мо-

настырской ограды Никиту-скудоумца. Сестра Анастасия выносила ему пищу, а блаженный садился на землю под забор и ел, старательно подбирая сыплющиеся крошки и облизывая грязные пальцы. Первые разы София только наблюдала за ним издали, а однажды осмелилась и подошла. В тот раз он схватил её за руку и поцеловал в щёку, оцарапав бородой. Она, испугавшись, отпрянула и заплакала, спрятавшись за покровительницу. А блаженный сказал:

– Я вкусил от рук ваших, а не от древа, но не мяса мясникова, а плодов кузнецовых.

Софию словно ожгло, она покраснела, резко дёрнулась и заковыляла в сад. Потом вечером долго не могла уснуть, всё ворочалась на жёстком ложе и вспоминала прошлую жизнь: почти забытый образ отца, хворую мать, тихое шествие на кладбище. Когда ж уснула, ей привиделась толпа людей – родственников, соседей, – злобно кричавших: «Ты не наша! Иди прочь!». Они кричали, носы их постепенно вытягивались, лица покрывались шерстью, слова становились всё неразборчивее, превращаясь в лай, и вот – пред ней стояла голодных, обезумевших собак, готовых разорвать её на кусочки. Собаки приближаются, но тут появляется Никита-скудоумец, такой же голодный, обезумевший, но способный защитить... София проснулась, осмотрелась в темноте по сторонам и ощутила, как благодарность теплотою стала расплываться в её груди.

С тех пор она перестала бояться Никиту и даже с нетерпением ждала, когда он придёт. Несколько раз она сама выносила ему похлёбку и сухари и давала из рук в руки, а тот ел, причмокивал и искоса на неё поглядывал. Помнил ли он, что спас её, для Софии было неважно, главное – она помнила, а он... как всякий блаженный помнил лишь то, что Бог велел. София прониклась к нему и полюбила. Покровительница девочки обрадовалась перемене, про себя отметив, что той стало лучше, и что природная доброта берёт верх над страхом и брезгливостью: не для них она готовила свою подопечную. В день отъезда София выглядывала в окно: вдруг подойдёт, она просила об этом, чтоб попрощаться, едут-то, возможно, надолго. Но Никита-скудоумец не пришёл. Ни в обычное время с утра, ни к полудню, как появлялся изредка. Что-то с ним случилось или просто забыл? Она уже поняла, что его мутное сознание плохо удерживало в памяти последние события. Девочка грустнела.

– Пора ехать, – позвала сестра Анастасия, заглянув в общую спальню послушниц, куда не так давно перевели Софию, как только та немного окрепла, – всё готово.

София вздрогнула и обернулась от окна. Сердце заколотилось. Ещё никогда она не покидала Салоники дальше, чем на пару римских

миль вдоль побережья.

Дорога оказалась скучной. Муторное сидение на смоляных досках, покрытых колючей соломой, скрип наспех смазанных колёс, непременный и раздражающий, постоянная трясучка на мало-мальских кочках и на камушках, то и дело попадающих под колёса. Поначалу София вглядывалась вдаль, любовалась морем и зелёными холмами, поросшими лесом, но гнетущая духота с тяжёлыми запахами дорожной пыли, лошадиного пота и разнотравной пыльцы сделали своё дело, и её сморил нездоровый, обморочный сон. Попечительница намочила ей лоб ободряющей уксусной водой и легла рядом, обняв девочку. Вскоре София очнулась.

Заночевать пришлось единожды. Возница свернул с дороги и остановил телегу на лугу у жалобно журчащей речушки. Стрекотали цикады. На ярко-фиолетовом небе загорелись созвездия. София за день утомилась. Тело болело. Вены на ногах пульсировали, мышцы ныли, занозам на ладонях не было числа, подстеленная солома исколола всё тело.

Наскоро перекусив и попив прохладной свежей речной воды, решили укладываться спать: сестра Анастасия с Софией в той же телеге, а возница – мужчина молчаливый и тощий – на траве подле пасущихся на колышке коней, коих распрягли и отправили кормиться.

Ближе к полуночи Софию и сестру Анастасию разбудил шум с дороги: то ехали бродячие артисты. Их повозки двигались в ту же сторону, что и монастырская телега. Три повозки людей и ещё три – скарба и барахла, необходимого для представлений: коробки, сундуки, ткани, разобранные декорации и помост, лебёдочные механизмы и многое другое. Вся процессия была ярко освещена факелами, шумела, гудела. Девушки с задорным хохотом выскакивали на ходу из телеги, чтоб заскочить в другую. Вооружённые мужчины ехали верхом: одни сзади, другие спереди. Все переговаривались между собою, смеялись. Радость окутывала их недлинный поезд.

Маленькая София проснулась, с испугом выплянула из-под навеса и, поняв, кто перед ней, невольно заулыбалась весёлости и безмятежности актёров.

Караван остановился на привал поодаль от монастырского лагеря. Бродячая труппа занялась хозяйством: разожгли костры, стали готовить ужин.

– Лежи смирно! – сказала громким шёпотом сестра Анастасия, когда София, внимательно разглядывающая артистов, заёрзала. От реки раздался храп возницы. – И ты тоже!

Одна из актрис, взяв с собой корзинку с зелёными, совсем кислыми, но ароматными яблоками, пошла к одиноко стоящей телеге, в которой

лежали послушницы.

София, сама себе не отдавая отчёта, выскочила из телеги и, припадая на правую ногу, побежала навстречу женщине.

– София! – крикнула сестра Анастасия, и девочка замерла, словно наткнувшись на невидимую преграду.

Услышав голос, актриса остановилась. А потом медленно подошла к телеге, взяв за руку девочку.

– Давайте познакомимся, – сказала актриса спокойно. – Вот яблоки. Я угощу ребёнка?

– Уйди, – сказала монахиня, чувствуя охватывающую злость, – лицедейка!

София поняла, что сестра Анастасия чего-то испугалась, но чего именно?

Актриса медленно отпустила девчушкину руку и резко бросилась бежать к своим, нарочито громко и неестественно засмеявшись. Космы её волос и широкую юбку стал метать ветер.

Сестра Анастасия, нервно дрожа, перекрестилась и смачно сплюнула.

– Иди сюда, – монашка заключила девочку в объятия, – не смотри на них. Дьявольщина это всё. Не подходи к дурным людям. Забудь, – и принялась гладить её по голове.

Наутро же никаких актёров с повозками они не увидели: те уехали чуть свет, оставив после себя лишь чёрные пятна кострищ.

Софии казалось ночное происшествие сном, пока монахиня не сказала:

– Это были плохие люди. Ночью. Они лицедействуют. А лицедейство противно воле Божией. Нельзя изображать, понимаешь?

– Понимаю, – простодушно ответила София, согласно кивнув головой. Она даже не подумала над словами покровительницы, однако запомнила впечатление от вчерашних проезжающих мимо жизнерадостных телег. Радости до того она почти не знала, а потому ночью поддалась неизвестному чувству. Теперь же сердце её защемило. Тёмная фигура актрисы в неверном свете факелов и ночных светил, яблочный запах из корзины преследовали девочку ещё пару часов, стоило закрыть глаза – и картинка перед тобой. Благо, монахиня о том не подозревала.

К полудню, даже немного раньше, их телега въехала в деревушку.

Сестра Анастасия там устроила переполох: никто не ожидал проверки. Местный священник забегал, сначала недовольный и растерянный, но потом великоважный, организовывая их жизнь-бытьё и отдавая распоряжения сельским надзорным.

Монахине и её подопечной выделили уютный домик чуть в стороне от остальных, но в наиболее живописном и удобном месте: среди кустов, растущих на берегу ручья.

Пока сестра Анастасия наводила порядки, София, позабытая всеми, решила осмотреть окрестности. Она спустилась от посёлка до речушки и бережком по кустам вышла на поляну. Здесь расположились бродячие артисты, вместе со всеми своими шестью повозками. По берегу паслись лошади, без привязей и колышков, отпущенные на волю, а кругом резвились дети и подростки. Одни местные, крестьянские, судя по бедной одежке, и несколько явно – городские, в плащах поверх туник. Взрослые в стороне сооружали помост. Один из них, страшный старик со шрамом на щеке, пристально воззрился на девочку. Софии стало не по себе, когда он пошёл к ней.

Губ Софии коснулась испуганная улыбка, а сама она словно вросла в землю.

Старик присел на корточки и взгляделся ей в лицо.

– Т-ты откуда? – спросил, прищурился над шрамом.

Софии вдруг захотелось расплакаться, то ли от страха, то ли ещё от чего. Сердце трепетало, а дыхание перехватывало.

– Агапий! – звонко раздалось. – Это кто?

– Не знаю, – поднявшись, ответил старик. – Может, бродяжка? Всех местных я много лет знаю.

К ним подошёл темноволосый мальчик с блестящими карими глазами. Их лучащаяся доброта успокоила Софию.

– Константин, – представился мальчик. Повисло молчание. – Агапий, наверное, ты её пугаешь...

Старик проворно отскочил и присел на край ближайшей телеги.

София смутилась и выдавила шёпотом:

– София.

К ним подошла актриса, та самая, ночная гостья.

– Елена, она лицо где-то умудрилась запачкать. Умой её да угости чем-нибудь, – сказал Константин. – Потом расспросим, кто да откуда...

Философ вернулся в компанию и, как ни в чём не бывало, засмеялся:

– А кто на запруду купаться? Представление только вечером!

И ребятня с гамом скрылась в зарослях. Страшный старик Агапий, кряхтя, но не смея ворчать, побежал за ними.

Вдоволь наплававшись в озере у мельницы, озорно поругавшись с её работниками, ребята отправились обратно. Скоро начнёт вечереть, а значит, надо успеть на выступление и, желательно засветло, домой.

Бродячие артисты установили помост, многие ходили ряжеными.

Сия труппа приезжала каждый год, а за это лето и вовсе аж второй раз: наткнулись в пути на беспокойный район и повернули обратно. Константин хорошо знал артистов и любил их представления. Так и сейчас, снedaемый любопытством, предвкушая зрелище, полное уморительных шуток и жутких трюков, он, смешавшись с сельской ребятнёй, стоял перед сценой и восторженно озирался вокруг.

Константин поискал глазами новую знакомую и не нашёл. Забеспокоившись, он вырвался из толпы и стал бродить по лагерю. Наконец Философ увидел Елену и подошёл:

– А где она?

– Девочка? – спросила актриса. – Она ушла. С ней всё хорошо. Я умыла её и накормила... Ей нужно было уйти. Она боялась, что её потеряют. Но обещала прийти завтра вечером. Мы на время задержимся здесь. На севере опять беспокойно.

– Там Михаил, – гордо сказал Константин, – он друнгарий, так что скоро там будет безопасно. Вы не знаете, как он хорошо владеет мечом! Его отец всему научил!

– А ты? Ты умеешь обращаться с оружием? – мягко спросила актриса.

– Я? Немного... Но я тоже научусь. Отец нас всех учит. Просто я... немного... – и замолчал, смущённый. Зазвучала свирель, раздались созывающие крики. Елена потрепала его по голове:

– Начинается, идём.

* * *

Логофет Феоктист прогуливался по террасе в тени правительственного Дворца Дафна. Давно уже пребывая в дурном расположении духа, погружённый в сумрачные мысли после очередного заседания Сената, он не заметил приближающегося Льва Математика.

– Феоктист! – громким шёпотом окликнул учёный. Логофет вздрогнул и обернулся.

– А, это ты, – сказал он. – Приветствую тебя.

– Ты меня избегаешь, что ли? Я тебя давно нигде не видел.

– Империя огромна. У меня много дел.

– Ну, конечно. За полгода ни разу не зашёл в школу.

Логофет промолчал и, уперев руки в бока, от чего сделался ещё полнее, выжидающе воззрился на учёного.

Лев Математик не смутился и не стал ходить вокруг да около:

– Столица процветает. Жизнь спокойна. Пора дать продвижение

молодым.

– Я тут поинтересовался... твоим учеником. Боюсь, ничего не могу сделать. Я не помогаю лобызателям икон.

– Что за глупости, Феоктист!

Логофет осмотрелся по сторонам, поблизости никого не было, и быстро зашептал:

– Его родителей сослали семь лет назад. В ссылке скончался отец. Мать пока жива. Она же приходится сестрой твоему отцу, не так ли?

Лев Математик промолчал, а Феоктист продолжил с нарастающей злостью:

– Сам понимаешь, что другой твой дядя – Иоанн Грамматик – уже два года как Патриарх. Если он прощает свою родню, то пусть сам даёт назначение. Я же умываю руки, мне до икон дела нет... И ещё: Феофоб до сих пор популярен. Когда он с четырнадцатитысячным персидским войском перешёл на нашу сторону, это здорово помогло империи на границе с халифатом. Плебс такое любит. Он принял христианство в знак верности и получил одобрение Церкви. В благодарность Феофил отдал ему в жёны сестру, что подкупило Сенат. Сейчас он главнокомандующий, и армия в его руках... А император всё не выздоравливает. Феодора понесла, но если Феофил умрёт до рождения наследника, то не миновать смуты. У перса слишком много сторонников, а его женитьба делает его претендентом. Если Феодора проиграет, то никому из нас ничего хорошего ждать не придётся. И тебя, и «твоего ученика», как дальних родственников Феодоры... Перс уберёт всех армян, близких к трону, вплоть до Патриарха. Зачем ему другие иноземцы? А ты говоришь, жизнь спокойна.

– Я тебя сам о нём предупредил, если помнишь... А ты «Варда»! Он хоть брат Феодоре!

– Варда с сегодняшнего дня отправляется на границу. Уж не знаю, хорошо ли это... – раздосадованный логофет побрёл прочь.

– На восток? – вдогонку спросил Лев Математик и развёл руками. – Если так, то это для него удача. Вот увидишь, он вернётся с очередным триумфом, – и мысленно добавил:

«И да поможет Бог ему сместить перса».